

Переписка Николая Гумилева с Ларисой Рейснер

Российская государственная библиотека, научно-исследовательский отдел рукописей,
фонд Ларисы Рейснер

Ф. 245 Рейснер, Лариса Михайловна (1895—1926) — 819 ед. хр. — [опись фонда](#)

**Николай Гумилев Ларисе Рейснер
8 ноября 1916 года**

«Лери, Лери, надменная дева, ты как прежде бежишь от меня».

Больше двух недель, как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность.

О своей жизни я писал Вам в предыдущем письме. Перемен никаких и, кажется, так пройдет зима... Кроме шуток, пишите мне. У меня «Столп и утверждение истины», долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся творческой грозы. Все это пьянит как вино и склоняет к надменности солипсизма. А это так не акмеистично. Мне непременно нужно ощущать другое существование — яркое и прекрасное. А что Вы прекрасны — в этом нет сомнения. Моя любовь только освободила меня от, увы, столь частой при нашем образе жизни слепоты.

Здесь тихо и хорошо. По-осеннему пустыне поля и кое-где уже покрасневшие от мороза прутья. Знаете ли Вы эти красные зимние прутья? Для меня они — олицетворение всего самого сокровенного в природе. Трава, листья, снег — это только одежды, за которыми природа скрывает себя от нас. И только в такие дни поздней осени, когда ветер, и дождь, и грязь, когда она верит, что никто не заметит ее, она чуть приоткрывает концы своих пальцев, вот эти красные прутья. И я, новый Актеон, смотрю на них с ненасытным томлением.

Лера, правда же, этот путь естественной истории бесконечно более правилен, чем путь естественной психоневрологии. У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги и нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то странным прорывом посередине. Вы — Дафна, превращенная в Лавр, принцесса, превращенная в статую. Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источника в чаще красных и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты.

До свидания, Лери, я буду Вам писать.

О моем возвращении я не знаю ничего, но зимой на неделю думаю вырваться.

Целую Ваши милые руки. Ваш Гафиз.

Мой адрес: Действующая армия, 5 гусарский Александрийский полк, 4 эскадрон, прапорщику Гумилеву.

**Лариса Рейснер Николаю Гумилеву
1916 год**

Милый Гафиз, Вы меня разоряете. Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городского, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменные ладони, сложенные вместе, со стеклянными, чудесными просветами. И там не один святой Николай, а целых три. Один складной, а два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельнее. Поэтому свечи ставятся всем, уж заодно.

Милый Гафиз, если у Вас повар, то это уже очень хорошо, но мне трудно Вас забывать. Закопай все по порядку, так, что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи или что-нибудь Ваше — и начинается все сначала, и в историческом порядке.

Завтра вечер поэтов в Университете, будут все Юркуны, которые меня не любят. Много глупых студентов, и профессора, вышедшие из линии обстрела. Вас не будет. Милый Гафиз. Сейчас часов семь, через полчаса я могу быть на Литейном, в такой сырой, трудный, долгий день. Ну вот и довольно. С горя...

**Лариса Рейснер Николаю Гумилеву
Ноябрь 1916 года**

Милый Гафиз, это письмо не сентиментально, но мне сегодня так больно, так бесконечно больно. Я никогда не видела летучих мышей, но знаю, что, если даже у них выколоты глаза, они летают и ни на что не натываются. Я сегодня как раз такая бедная мышь, и всюду кругом меня эти нитки, натянутые из угла в угол, которых надо бояться.

Милый Гафиз, много одна, каждый день тону в стихах, в чужом творчестве, чужом опьянении. И никогда еще не хотелось мне так, как теперь, найти, наконец, свое собственное. Говорят, что Бог дает каждому в жизни крест такой длины, какой равняется длина нитки, обмотанной вокруг человеческого сердца. Если бы мое сердце померили вот сейчас, сию минуту, то Господу пришлось бы разориться на крест вроде Гаргантюа, величественный, тяжелейший...

Ах, привезите с собой в следующий раз поэму, сонет, что хотите, о янычарах, о семиголовом цербере, о чем угодно, милый друг, но пусть опять ложь и фантазия украсятся всеми оттенками павлиньего пера и станут моим Мадагаскаром, экватором, эвкалиптовыми и бамбуковыми чащами, в которых человек якобы обретает простоту души и счастье бытия. О, если бы мне сейчас — стиль и слог убежденного Меланхолика, каким был Лозинский, и романтический чердак, и действительно верного и до смерти влюбленного друга. Человеку надо так немного, чтобы обмануть себя.

Ну, будьте здоровы, моя тоска прошла. Жду Вас.

Ваша Лери

**Николай Гумилев Ларисе Рейснер
8 декабря 1916 года**

Лери моя, приехав в полк, я нашел оба Ваши письма. Какая Вы милая в них. Читая их, я вдруг остро понял, что Вы мне однажды сказали, — что я слишком мало беру от Вас. Действительно, это непростительное мальчишество с моей стороны разбирать с Вами проклятые вопросы. Я даже не хочу обращаться Вас. Вы годитесь на бесконечно лучшее.

И в моей голове уже складывается план книги, которую я мысленно напишу только для Вас. Ее заглавие будет огромными красными, как зимнее солнце, буквами: «Лери и любовь». А главы будут такие: «Лери и снег», «Лери и персидская лирика», «Лери и мой детский сон об орле».

На все, что я знаю и люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она действительно имеет свой особый цвет, еще не воспринимаемый людьми (как древними не был воспринимаем синий цвет).

И я томлюсь, как автор, которому мешают приступить к уже обдуманному произведению. Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мало, мне хочется еще. Я не очень верю в переселенье душ, но мне кажется, что в прежних своих переживаниях Вы всегда были похищаемой, Еленой Спартанской, Анжеликой из Неистового Роланда и т. д. Так мне хочется Вас увезти.

Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю.

Вспомните, Вы мне обещали прислать Вашу карточку. Не знаю только, дождусь ли я ее, пожалуй, прежде удеру в город пересчитывать столбы на решетке Летнего сада. Пишите мне, целующему Ваши милые, милые руки.

Ваш Гафиз

**Лариса Рейснер Николаю Гумилеву
Декабрь 1916 года**

Я не знаю, поэт, почему лунные и холодные ночи так бездонно глубоки над нашим городом. Откуда это все более бледнеющее небо и ясный, торжественный профиль старых подъездов на тихих улицах, где не ходит трамвай и нет кинематографов... Милые ночи, такие долгие, такие бессонные. Кстати о снах. Помните, Гафиз, Ваши нападки на бабушкин сон с «щепкой», которым чрезвычайно было уязвлено мое самолюбие. Оказывается, бывает хуже.

Представьте себе мечтателя, самого настоящего и убежденного. Он засыпает, побежденный своей возвышенной меланхолией, а также скучным сочинением какого-нибудь славного, давно усопшего любомудра. И ему снится райская музыка, да, смейтесь сколько угодно. Он наслаждается неистово, может быть плачет, вообще возносится душой. Счастлив, как во сне. Отлично. Утром мечтатель первым делом восстанавливает в своей памяти райские мелодии, только что оставившие его, вспоминает долго, озлобленно, с болью и отчаянием. И оказывается, что это

было нечто более, чем тривиальное, чижик-пыжик, какой-нибудь дурной и навязчивый мотивчик, я это называю — кларнет-о-пистон. О, посрамление! Ангелы в раю, очень музыкальные от природы, смеются, как галки на заборе, и не могут успокоиться.

Гафиз, это очень печальное происшествие. Пожалейте обо мне, надо мной посмеялись.

Лери

P. S. Ваш угодник очень разорителен, всегда в нескольких видах и еще складной, с цветами и большим полотенцем.

**Николай Гумилев Ларисе Рейснер
15 января 1917 года**

Леричка моя, Вы, конечно, браните меня, я пишу Вам первый раз после отъезда, а от Вас получил уже два прелестных письма. Но в первый же день приезда я очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, они стреляли в меня, и так прошли две недели. Из окопов писать может только графоман, настолько все там не напоминает окопа: стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс, которые сердито ворчат, если к ним подходишь. И я целые дни валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между нами линию, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес. Это восхитительное занятие, Вы как-нибудь попробуйте.

Теперь я временно в полуприличной обстановке и хожу на аршин от земли. Дело в том, что заказанная Вами пьеса (о Кортесе и Мексике) с каждым часом вырисовывается передо мной ясней и ясней. Сквозь «магический кристалл» (помните у Пушкина) я вижу до мучительности яркие картины, слышу запахи, голоса. Иногда я даже вскакиваю, как собака, увидевшая взволнованный ее сон. Она была бы чудесна, моя пьеса, если бы я был более искусным техником. Как я жалею теперь о бесплодно потраченных годах, когда, подчиняясь внушенью невежественных критиков, я искал в поэзии какой-то задушевности и теплоты, а не упражнялся в писаньях рондо, рондoley, лэ, вирелэ и пр. Искусство Теодора де Банвиля и то оказалось бы малым для моей задачи. Придется действовать по-кавалерийски, дерзкой удалью и верить, как на войне, в свое гусарское счастье. И все-таки я счастлив, потому что к радости творчества у меня примешивается сознание, что без моей любви к Вам я и отдаленно не мог бы надеяться написать такую вещь.

Теперь, Леричка, просьбы и просьбы: от нашего эскадрона приехал в город на два дня солдат, если у Вас уже есть русский Прескотт, — пришлите мне. Кроме того, я прошу Михаила Леонидовича купить мне лыжи и как на специалиста по лыжным делам указываю на Вас. Он Вам, наверное, позвонит, помогите ему. Письмо ко мне и миниатюру Чехонина (если она готова) можно послать с тем же солдатом. А где найти солдата, Вы узнаете, позвонив Мих. Леонид.

Целую без конца Ваши милые, милые ручки.

Ваш Гафиз

Лариса Рейснер Николаю Гумилеву
Январь 1917 года

Мой Гафиз, — смотрите, как все глупо вышло. Вы не писали целую вечность, я рассердилась — и не подготовила Вашу книгу. Солдат уезжает завтра утром, а мне М. Л. позвонил только сегодня вечером, часов в восемь; значит, и завтра я ничего не успею сделать. Но все равно, этого Прескотта я так или иначе разыщу и Вам отправлю. Теперь — лыжи. Таких, как Вы хотите, нигде нет. Их можно, пожалуй, выписать из Финляндии, и недели через две они бы пришли. Но не знаю, насколько это Вас устраивает?

Миниатюра еще не готова — но, наверно, будет готова в первых числах. Что сказать Вам еще? Да, о Вашей работе.

Помните, мы как-то говорили, что в России должно начаться Возрождение? Я в последнее время много думала об этих странных людях, которые после утонченного, прозрачного, мудрого кватроченто — вдруг просто, одним движением сделались родоначальниками совсем нового века. Ведь подумайте, Микель Анджело жил почти рядом с Содомой, после Леонардо, после женщин, не способных держать даже Лебеда. И вдруг — эти тела, эти тяжести и сновидения.

Смотрите, Гафиз, у нас было и прошло кватроченто. Брюсов, учившийся искусству, как Мазаччио перспективе. Ведь его женщины даже похожи на этих боевых, тяжелых коней, которые занимали всю середину фрески своими нелепо поднятыми ногами, крупами, необычайными телодвижениями. Потом Белый, полный музыки и аллегорий наполовину Боттичелли, Иванов — чудесный график, ученый, как Болонец, точный и образованный, как правоверный римлянин.

А простые и тонкие Бальмонт и его школа — это наша отошедшая готика, наши цветные стекла, бледные, святые, больше пение, чем поэзия.

Я очень жду Вашей пьесы. Вы как ее скажете? Вероятно, форма будет чудесна, Вы это сами знаете. Но помните, милый Гафиз, Сикстинская капелла еще не кончена — там нет Бога, нет пророков, нет Сивилл, нет Адама и Евы. А главное — нет сна и пробуждения; нет героев; ни одного жеста победы — ни одного полного обладания, ни одной совершенной красоты, холодной, каменной, отвлеченной красоты, которой не боялись люди того века и которую смели чтить, как равную. Ну прощайте. Пишите Вашу драму, и возвращайтесь, ради Бога».

Приписка на полях: «Гафиз, милый! Я жду Вас к первому. Пожалуйста, постарайтесь быть, а?»

Николай Гумилев Ларисе Рейснер
22 января 1917 года

Леричка моя, какая Вы золотая прелесть, и Ваш Прескотт, и Ваше письмо, и главное, Вы. Это прямо чудо, что во всем, что Вы делаете, что пишете, так живо чувствуется особое Ваше очарование... Я уже совсем собрался вести разведку по ту сторону Двины, как вдруг был отправлен закупать сено для дивизии. Так что я теперь в такой же безопасности, как и Вы. Жаль только, что приходится менять план пьесы. Прескотт убедил меня в моем невежестве относительно мексиканских дел. Но план вздор, пьеса все-таки будет, и я не знаю, почему Вы решили, что она будет миниатюрной, она трагедия в пяти актах, синтез Шекспира и Расина!

Лери, Лери, Вы не верите в меня. К первому приехать мне не удастся, но в начале февраля, наверное. Кроме того, пример Кортеса меня взволновал. И я начал сильно подумывать о Персии. Почему бы на самом деле не заняться усмирением бахтиаров? Переведусь в Кавказскую армию, закажу себе малиновую черкеску, стану резидентом при дворе какого-нибудь беспокойного хана, и к концу войны, кроме славы, у меня будет еще дивная коллекция персидских миниатюр. А ведь Вы знаете, что моя главная слабость — экзотическая живопись.

Я прочел статью Жирмунского. Не знаю, почему на нее так ополчились. По-моему, она лучшая статья об акмеизме, написанная сторонним наблюдателем, в ней много неожиданного и меткого. Обо мне тоже очень хорошо, по крайней мере, так хорошо обо мне еще не писали. Может быть, если читать между строк, и есть что-нибудь ядовитое, но Вы знаете, что при такой манере чтения и в Мессиаде можно увидеть роман Поль де Кока.

Почему Вы мне не пишете, получили ли Вы программу чтения от Лозинского и следуете ли ей. Хотя Вам, кажется, не столько надо прочесть, сколько забыть. Напишите мне, что больше на меня не сердитесь. Если опять от меня долго не будет писем, смотрите на плакаты «Холодно в окопах». Правду сказать, не холодней, чем в других местах, но неудобно очень.

Лери, я Вас люблю.

Ваш Гафиз

Вот хотел прислать Вам первую сцену Трагедии и не хватило места.

**Лариса Рейснер Николаю Гумилеву
Январь 1917 года**

Застанет ли Вас это письмо, мой Гафиз? Надеюсь, что нет: смотрите, не сегодня-завтра начнется февраль, по Неве разгуливает теплый ветер с моря — значит, кончается год (я всегда год считаю от зимы до зимы) — мой первый год, не похожий на все прежние: какой он большой, глупый, длинный — как-то слишком сильно и сразу выросший. Я даже вижу — на носу масса веснушек и невообразимо длинные руки.

Милый Гафиз, как хорошо жить! Это, собственно, главное, что я хотела Вам написать.

Что я делаю? Во-первых, обрела тихую пристань. Как пьяница, который долго ищет «свой» любимейший кабачок, я все искала место строгое, уединенное и теплое для моих занятий. В Публичной библиотеке мне разонравилось. Много знакомых, из окна не видно набережной, книги выдаются с видом глубокого недоумения. Вам Блока? А-а...

**Николай Гумилев Ларисе Рейснер
6 февраля 1917 года**

Лариса Михайловна, моя командировка затягивается и усложняется. Начальник мой очень мил, но так растерян перед встречающимися трудностями, что мне порой жалко его до слез. Я пою его бромом, утешаю разговорами о доме и всю работу веду сам. А работа ужасно сложная и запутанная. Когда попаду в город, не знаю. По ночам читаю Прескотта и думаю о Вас. Посылаю Вам военный мадригал, только что испеченный. Посмейтесь над ним.

Взгляните, вот гусары смерти,
Игрою ратных перемен
Они, отчаянные черти,
Побеждены и взяты в плен.
Зато бессмертные гусары,
Те не сдаются никогда;
Войны невзгоды и удары
Для них как воздух и вода.
Ах, им опасен плен единый,
Опасен и безумно люб, —
Девичьей шеи лебединой,
И милых рук, и алых губ...

Ваш Н. Г.

**Николай Гумилев Ларисе Рейснер
9 февраля 1917 года**

Лариса Михайловна, я уже в Окуловке. Мой полковник застрелился, и приехали рабочие, хорошо еще не киргизы, а русские. Я не знаю, пришлют мне другого полковника или отправят в полк, но, наверное, скоро заеду в город. В книжном магазине Лебедева, Литейный (против Армии и Флота), есть и «Жемчуга» и «Чужое небо». А, правда, хороши китайцы на открытке? Только негде написать стихотворение.

Искренне преданный Вам
Н. Гумилёв

**Николай Гумилев Ларисе Рейснер
5 июня 1917 года**

Лариса Михайловна, привет из Бергена. Скоро (но когда неизвестно) думаю ехать дальше. В Лондоне остановлюсь и оттуда напишу как следует. Стихи все прибавляются. Прислал бы Вам еще одно, да перо слишком плохо, трудно писать. Здесь горы, но какие-то неприятные, не знаю, чего не достает, может быть, солнца. Вообще Норвегия мне не понравилась: куда ей до Швеции. Та — игрушечка. Ну, до свидания, развлекайтесь, но не занимайтесь политикой.

Преданный Вам
Н. Гумилёв

Лариса Рейснер Николаю Гумилеву
Осень 1917 года

В случае моей смерти, все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало и такое похожее на любовь.

И моя нежность — к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей — стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки.

Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог.